

Обращаются за советом, когда колеблются. Решение еще не принято. Все еще можно сделать так, а можно и эдак. Цепочка жизни, цепочка событий, фактов, судеб, начинающаяся от точки принятого решения, будет вязаться и плестись либо одна, либо другая. Как же тут, скажите, не колебаться?

Посоветуете вы вашему другу Сергею не жениться на девушке Тане, он послушается вашего совета и не женится. Что же произошло? А то, что с

ответственностью, настолько изумляющей, что, пожалуй, лучше ее назвать безответственностью, вы передвинули рычаги, перевели очень важные стрелки, и теперь несколько поездов понесутся в пространстве и времени другими путями, нежели они понеслись бы без вашего совета, о котором вы, проснувшись на другой день, возможно, и не вспомните.

А поезда эти — судьбы. Судьба самого Сергея. Судьба бедняжки Тани. А может, и не бедняжки. Судьбы Сергеевых и Таниных детей, но уж не их совместных детей, заметьте! У них должны были народиться Светочка, Ирочка и Андрюшка, из которых вышли бы со временем эстрадная певица, учительница и техник по ремонту телевизоров. Теперь же у Тани совсем не будет детей, а у Сергея родятся Танечка и Славик. Танечка поступит кое-как в лесной институт, а Славика возьмут в армию. Их часть будет стоять на Украине. Он женится на местной девушке и поселится под Винницей. Устроится в совхоз трактористом, а дома разведет поросят и тыквы в огороде.

Вот что наделали вы своим советом!

А разве мы знаем, что за дети родились бы у не родившихся по вашей вине Светочки, Ирочки и Андрюшки? И что за дети родятся у Танечки и Славки, и что они натворят, пока живут на земле? Давая тот давнишний совет, я не задумывался над важностью происходящего. И занятие у меня было самое прозаическое: я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука.

С этим домом я впервые познакомился лет двенадцать назад (боже мой, как летит время!) совершенно случайно. Шел по перегретой приморской улочке в поисках комнаты. В середине сентября побережье заметно пустеет, свободные комнаты попадаются на каждом шагу. Но выбрать из многого всегда труднее, чем просто найти.

Дворик, затененный особенным, привлекательным образом, и домик, белеющий в глубине зелени, остановили меня. Я открыл калитку, пошел по прямой дорожке, и свисающие гроздья черного винограда, затуманенного белой пылью, все время, пока я шел, просили, чтобы я подставил просторные пригоршни и принял в них тяжелую прохладную гроздь.

Мне показали комнату с окном на старую узловатую хурму, дикую, осыпанную мелкими, как черешня, желтенькими плодами, на бамбукоподобные стебли кукурузы, между желтизной которых проглядывала яркая синева близкого моря. В комнате помещались койка, стол и платяной шкаф, то есть все, что мне нужно.

Хозяйка взялась и кормить меня. Я приходил к столу трижды в день и вскоре узнал всю семью.

Глава семьи Михаил работал на рыбозаводе. Он возвращался домой после шести вечера, и от него пахло соленой рыбой. Хозяйка Катя работала только дома на участке. Земля требовала ухода, дети тоже.

Осенью начиналась особенная пора. Наливали в бутылки цицель, запечатывали их проволокой и варом, зарывали в землю. Готовили аджику. Варили, мариновали, солили, сушили, вялили. Давили виноград. Винный дух стоял над деревней.

Семья была русская, но делали они все то же, что и местные люди, то есть то, что предопределялось климатом, землей, всевозможными плодами, вызревающими на этой земле, и обычаями народа, возделывающего эту землю.

Михаилу было лет сорок пять, Катя казалась лет на десять моложе, но, возможно, разница в годах между ними была не так велика.

Старшему сыну моих хозяев исполнилось четырнадцать лет: он учился в восьмом классе. Дочка Людочка перешла в шестой.

Как это часто бывает, на следующий год мы списались, и я приехал прямо к моим добрым хозяевам. Да так и наладил с тех пор каждую осень ездить в их чистый домик. Разложишь вещи, бумаги на столе, посмотришь в окно, увидишь синеву моря между кукурузными стеблями, и на душе делается тепло и тихо, легко и радостно. Много ли человеку надо?

Значит, я сидел за столом и ел южное блюдо, приготовленное из сладкого перца, кабачков, помидоров, зеленой фасоли и лука, Катя сидела напротив меня и чистила чеснок для соленья. Виктор зашел в комнату, взял подводное ружье, ласты и ушел к морю, Людочка была неизвестно где. Михаил еще не вернулся с работы.

Разговор у нас с Катей шел самый дежурный, повседневный, невозможно и вспомнить, о чем мы тогда говорили. Да оно и не важно. Хотя, пожалуй, неплохо бы вспомнить, как именно наш никчемный разговор пришел к той неожиданной точке, когда Катя, несколько смутясь и покраснев, поделилась со мной:

— Нет, мы с Мишей твердо решили. Виктор, можно сказать, на ногах, Людочка тоже стала взрослая девочка. Неужели теперь снова все начинать? Это только со стороны хорошо. Или кому не дали дети в жизни, те тоскуют. Это я понимаю. И то правильно говорят: «Без детей — горе, а с детьми — вдвое». Мы, слава богу, двоих вырастили. Долг перед природой исполнили.

Насчет природы и долга она сказала с некоторым озорством, со смешинкой, но во всем остальном была очень даже серьезна.

— Мы теперь стали вольные птицы, руки наши развязаны. Хотим — здесь будем жить, хотим — в Россию подадимся, ближе к родным местам. И вообще... Разве кто знает, сколько я пережила, когда у Людочки двустороннее воспаление легких было в двухлетнем возрасте? А как я ее ночи напролет на своем плече носила, и так целый год?

— Почему надо было носить?

— Орала. День молчит. А как только нам спать ложиться, так и начинает концерт. Орет и орет. Пока на плече носишь — замолкнет. Только положишь — снова ор. Я стала на тень похожа. И рожать — не конфетку съесть. Мы забываем. Так, наверно, устроено, чтобы женщины забывали. А ведь мука мученическая. Кричим ведь, визжим, как недорезанные поросята. Нет уж, как только вспомнишь... Б-рр! Ну и возраст не тот. И Миша, как вы знаете... попивает. Мало ли как на ребенке отразится. Родится какой-нибудь трегубый. Вы которого, двадцатого уезжаете? Ну вот, вас проводивши, двадцать третьего и пойду. Четверг будет — хороший день.

Что за стих нашел на меня? Я и сам понимал, что двум этим людям, прошедшим своевременно через молодость, влюбленность, замужество, устройство гнезда, рождение детей, не нужен теперь новый пискун. А если и нужен, то — господи! — ни Виктор, ни Людочка не отложат дела в долгий ящик. Не успеешь опомниться — получай внуков! Ловкие пальцы женщины шелушили чеснок. Головка трескалась и с легким звуком рассыпалась на части. Белая и лиловая шелуха оставалась в стороне, и было ее много по сравнению с крепкими, глянцевыми дольками в тарелке, хранящими в себе тот крепчайший, сложнейший экстракт, изобретенный природой, который мы в человеческом обиходе зовем чесноком.

Пальцы Кати ловко шелушили чеснок. Я загляделся на них и именно по движениям пальцев, по их неуловимому почти волнению понял, что решить-то Катя с Михаилом решили, но все же теперь, сию вот минуту, Катя ждет еще и моего слова, совета, одобрения их поступку.

Отчетливо помню, что я хотел сказать: «Правильно вы решили. Конечно, придется перенести операцию. Но в наше время от нее никто, пожалуй, не умер. Отдохните, поживите спокойно. Скоро внуки пойдут. А знаете ли вы, что внуков любят больше, чем своих детей?» Тут я, возможно, развил бы теорию о степенях биологического родства между ближайшими и между следующими поколениями, но вместо всех этих рассуждений я неожиданно и простодушно спросил:

— А не жалко?

Пальцы дрогнули и выронили дольку чеснока, которую чистили. Катя подняла голову и взглянула на меня удивленно.

Я не отдавал себе отчета, что от меня сейчас, в сущности, зависит жизнь человека: родиться ему или не родиться, быть или не быть. Высокие материи были чужды мне в тот миг. Я хотел одобрить решение семьи, а вместо этого выпалил свое нелепое, неуместное: «А не жалко?»

— Если бы все жалели... — начала Катя и не закончила фразу.

Кто-то продолжал говорить за меня, ведя свою линию:

— Мне отчасти знакомо это чувство. Я поэт, а вынужден заниматься прозой.

— Но вы же пишете и стихи.

— Время от времени. Но если бы я не занимался прозой, то стихов у меня теперь было бы гораздо больше. Я недосчитываюсь нескольких сот стихотворений. Выходит дело, проза их задушила, и они не появились на свет.

— И вам не жалко? — с горьковатой усмешкой спросила Катя.

— Не то чтобы жалко, — серьезно ответил я, — но иногда хочется знать, какие это были бы стихи, о чем, насколько хороши или плохи, и, поверьте, нападает тоска. Делается страшно от необратимости происшедшего, от того, что никогда уж я не узнаю, что задохнулось и погибло во мне под тяжелыми плитами проклятой прозы.

Я помолчал и ударил, выражаясь по-спортивному, ниже пояса:

— А женщины разве не думают о своих неродившихся детях? У вас, наверное, не первый аборт. Скажите, никогда не хотелось вам хоть одним глазком взглянуть на детей, от которых вы избавились.

— Зачем же вы так? — Катя побледнела, у нее задрожали губы.

— Извините, конечно, я грубовато выразился. Но обычно женщины в этом не раскаиваются. Только одна женщина раскаивается и мучится, и то лишь потому, что умерла дочка, а дочке приснился сон.

— Какой сон? — насторожилась Катя. — И как мог девочке присниться сон, если она умерла?

— Перед смертью. Девочка умирала и знала, что умирает. И мать знала. И вот в день смерти, с утра, девочка говорит: «Бедная мама. Останешься ты одна. Мне приснилось сегодня, что ты стоишь на поляне и вокруг тебя много детей. Три девочки и четыре мальчика. Но только все они ужасные, жалкие, у одного голова похожа на бутылку, у другого три ноги. У девочки вместо рук маленькие лапки, как крылышки ошипанного цыпленка. Жуткий-прежуткий сон. А ты их всех обнимаешь и плачешь. И будто я бегу к ним, и они принимают меня в свою игру...» Женщина пропустила все мимо ушей: не тем была занята ее голова. Но потом, через месяц, вспоминая все время и перебирая в памяти последний день бедняжки и каждое ее слово, женщина вдруг похолодела от совпадения. Она вспомнила, что сделала в жизни именно семь аборт. И семь детей приснилось умирающей девочке. Так вы знаете, она едва не свихнулась. Кажется, ее даже лечили.

— Ужасно вы рассказываете. Я не думала, что вы такой злой...

Тут прибежала Людочка. Разговор наш оборвался, и больше мы к нему не возвращались. Через несколько дней я уехал в Москву, и выпало несколько неудачных лет, без южного солнца, без теплого моря, без комнаты, выходящей окнами на старую узловатую хурму и на кукурузу, громко шелестящую в те часы, когда на сочной и звучной голубизне появляются яркие белые барашки.

Шли сентябри и октябри, тоже прекрасные, с листопадами в березовых рощах, с полосатыми рыжиками в молодых соснах, с хрустальными заморозками по утрам либо уж с черными ненастными ночами, в которых чувства и настроения ничуть не меньше, чем в прозрачном утре или в солнечном полдне.

Но тело истосковалось по солоноватому йодистому ветерку, по теплой, но уже не горячей гальке и по той неизъяснимой бархатной ласке, которую умеет дарить только одна морская вода.

Больше я ждать не мог. Я бросил всю суету (а основное дело всегда со мной) и поехал, помчался к морю. После долгого перерыва я подходил к поселку около рыбозавода, словно к родной деревне, по которой соскучился. У знакомой калитки поставил свой чемодан и уже предвкушал всплеск рук и возгласы, неизбежные при внезапной встрече. Улыбка заранее расплылась на моем лице и, как бы я ни хотел ее согнать, становилась только шире и лучезарнее, сказал бы я, если бы речь шла о чужой улыбке, про свою же приходится сказать, что она становилась все глупее.

Глупее еще и потому, что никто не шел мне навстречу по дорожке от белого домика к калитке, под гроздьями черного винограда, все так же свисающими с витиеватых, загнутых в виде арки лоз.

Оставив чемодан на улице, я сам пошел к домику и около ступенек обнаружил чужую девочку, играющую в морские камешки.

Девочка оторвалась от игры и подняла на меня... Ну как там говорилось в старинных сентиментальных романах? Васильки глаз? Незабудки глаз? Бывают же такие синие, такие светлые глаза у детей! Вместе с тем во взгляде девочки не было никакой младенческой наивности и, ну как бы это сказать, голубизны херувимчика, ангелочка, что ли. Напротив, взгляд ее был исполнен серьезности и даже строгости.

Надо было бы как можно дольше, ухватившись как за соломинку, держаться за эти глаза. Но как быть? Одновременно я увидел и то, что сама девочка поразительно, безнадежно некрасива. Что-то старушечье, что-то от сморщенного печеного яблока, что-то от жалкой обезьянки было в ее лице. Но самое главное, и это поразило меня, подобно выстрелу, у девочки была раздвоенная, заячья губа. С открытой надеждой на чудо, как если бы вывалился из самолета и надеялся остаться в живых (известны же подобные случаи), я спросил:

— Ты чья?

— Миронова, — внятно ответила девочка.

— Как Миронова? Мироновых я всех знаю.

— Я Миронова. Я не виновата.

«Господи! Да конечно же, ты не виновата! — ослепительно сверкнуло в мозгу. — Это я, я виноват во всем! Начал плести тогда какую-то ахинею. Задел за живую струну, и вот результат. Посоветовал, называется, отговорил, убедил. Девочка, миленькая, да знаешь ли ты, что, если бы не я, тебя могло бы не быть?..»

Я смотрел на нее, как на чудо. Некрасивость ее ступсывалась и отошла на задний план. Руки, ноги, вздернутый носик, веснушки на носике и глаза, словно

смотровые отверстия в некий сосуд, в котором горит ровный синий огонь. Волшебный огонь. Огонь любви, чистоты, приятия мира. Огонь души. И все это уже есть, двигается, отвечает на вопросы, морщит лобик, улыбается. И всего этого могло не быть. Должно было не быть. А где же оно было бы? Куда делось бы? Нелепым образом всплыла в памяти фраза какого-то индийского мудреца (Ганди?), которую я не помнил про себя, но которая, как видно, запала когда-нибудь: «В этом мире редко удается родиться в виде человеческого существа».

— Девочка, как же тебя зовут?

— Аннушка.

— А где мама?

— Пошла на базар. Ты кто?

— Меня зовут дядя Петя. Я раньше жил у вас вон в той комнате.

— А теперь там моя кровать.

— Ну и хорошо. Только можно ли мне внести чемодан? Я подожду твою маму.

— Хочешь, покажу тебе мои секреты?

— Если ты не боишься их открыть...

— Я тебя не боюсь, — отрезала Аннушка и повела меня за угол дома.

Мы пришли на площадку, засыпанную песком. Тут валялись инструменты Аннушки: совочки, лопаточки и формочки.

— Сейчас увидишь секреты. Они очень красивые. Смотри.

В одном месте Аннушка начала разгребать песок, который лежал здесь довольно толстым слоем. Я ждал, что она вытащит сейчас из песка какую-нибудь игрушку, что-нибудь спрятанное. Или, может быть, там у нее кто-нибудь похоронен, птичка например? Тем неожиданнее было то, что я увидел. Я даже не сразу понял, что это такое и как это сделано. Но Аннушка не обманула: это было красиво. Странно, что мы не знали этого в нашем детстве и что я нигде не встречал этого раньше. Уж не придумала ли это Аннушка сама?

Секрет заключался в том, что в песке на некоторой глубине были уложены разные цветы, одни только головки цветов без стеблей и листьев. Эти цветы были уложены плотно, один к одному, придавлены осколком стекла величиной с чайное блюдце и засыпаны слоем песка. Когда Аннушка разгребла песок, то цветы под стеклом, сплюснутые в ровную плоскость, предстали взгляду как яркое, живописное пятно, как драгоценность, неожиданно обнаруженная в земле.

— Ну и секрет! — вырвалось у меня.

— Правда, красиво?

— Очень! Покажи еще, если есть.

Аннушка подводила меня то к одному месту песчаной площадки, то к другому, вглядывалась некоторое время, как бы видя сквозь землю, и начинала открывать очередное маленькое чудо. Цветы были разные. И еще ярче, еще необычнее вспыхнули и засветились они, когда Аннушка откопала мне «секрет» не на песчаной площадке, а в обыкновенной черной земле, около грядки с огурцами. В одном месте под стеклом оказались уложенными разноцветные морские камешки, и это тоже получилось неожиданно и красиво, хотя и не равнялось цветам.

— Правда, хорошие камешки?

— Правда.

— Пойдем к морю, я наберу тебе таких же. Я знаю, где водятся самые красивые камешки.

— Пожалуй, пойдем! Я искупаюсь с дороги. Сколько лет не окунался в синее море.

— Сколько лет?

— Тебя еще не было на свете.

— А свет был?

— Свет был.

— И море было? И мама?

— Да. Только одной тебя не было. Чудно.

— Чудно, — согласилась Аннушка, и мы пошли к морю.

Я разлежся на гальке, с наслаждением ощущая излучаемое камнями тепло.

Раскинув руки, я купался в золотистом безоблачном небе.

Стоило мне чуть-чуть приподнять голову — и я видел на самой кромке воды и земли, на самом урезе моря, как сказал бы какой-нибудь водник, девочку в ситцевых трусиках, беленьких, в крупный красный горошек. Девочка бежала вслед за откатывающейся, словно нарочно для нее, волной, выхватывала из-под волны нужные ей камешки и мчалась назад, потому что волна начинала обратное движение. Так они играли — море и девочка.

Девочка была маленькая, а море большое. И можно было увеличивать еще и еще то, что окружало маленькую девочку, потому что больше моря — страна, больше страны — океан, больше океана — земля, больше земли — небо, больше неба... Но сколько бы ни разбежалось вширь и вдаль, подобно бесшумному взрыву, наше воображение, девочка оставалась все той же, не становилась меньше. Вселенная вселенной, а девочка девочкой. Может быть, обе они — песчинки, может быть, обе они безграничны. А может быть, даже равны.

«Отговорил, насоветовал... — думал я между тем, все время взглядывая на девочку. — А что же с ней будет дальше? Можно, конечно, оттолкнувшись от этой точки, в два счета разработать ту или иную сюжетную линию, и после воплощения в форму романа (повести) будут эти линии убедительны и правдоподобны».

О, миллионы сюжетов и вариантов, которые тщетно было бы сводить к двум-трем нарочито огрубленным литературным схемам.

В том-то и дело, что мы и судьбы наши — как камешки на этом морском берегу. Все похожи один на другой, но двух одинаковых не найдешь. И хоть все камешки, вместе взятые, есть масса, и гальку для каких-нибудь строительных нужд можно черпать ковшом экскаватора, исчисляя на тонны, но каждый камешек все-таки сам по себе: этот в желтых прожилках, этот в розовых крапинках, этот черный, словно агат (а ведь бывает и вправду агат!), этот бел, как сахар, этот прозрачен, подобно стеклу.

Итак, миллионы сюжетов и вариантов, не поддающихся даже воображению, но и поддающихся, традиционных тоже много — до Улановой, до Тарасовой, до Гоар Гаспарян или по другому ответвлению — до Космодемьянской, до Терешковой, а там еще до матери Есенина, до подруги и сподвижницы протопопа Аввакума. Или самое-самое простое: дом, муж, работающий на рыбозаводе. Базар. Кабачки и помидоры, стирка, готовка, глаженье, подметанье, московские постельцы, двое выучившихся детей.

Тут определилось во мне то, что существовало все это время, эти час-полтора, как смутная, но настойчивая помеха: я понял, что боюсь показаться Кате на глаза.

Не возникало ли в ее сердце упрека, когда разглядывала спящей свою некрасавицу, свою незадачицу, свою уродинку, не проливалось ли над ней тайной или явной слезы? Виду, конечно, не подаст, но встретит прохладно, холодно. Откажет от дома? Комната занята Аннушкой, очень удобно отказать. Если будет холодно, и

сам уйдешь, не дожидаясь отказа, надо скорее, до ее прихода, вынести чемоданы, перебраться на другую улицу, в другой конец поселка, в другой город. Что, в самом деле, я же независимый человек!

Девочка и море продолжали играть.

— Ну, ты пойдешь со мной? Не боишься у моря? Не утонешь?

— Пойду с тобой. Что-то мама задержалась на базаре.

— А... она любит тебя, твоя мама?

— Я не спрашивала. Разве есть мамы, которые не любят детей?

Уйти, не показавшись, все же было б смешно. Но и чемодан разбирать я пока не стал. Прилег на койку поверх шерстяного жесткого одеяла, и зыбкая, легкая дремота одолела меня. Кажется, я даже уснул. Во всяком случае, не заметил, много ли прошло времени, прежде чем послышался в саду знакомый, ничуть не изменившийся голос:

— Солнышко ты мое, ласточка ты моя! Заждалась. Я вон зашла к Наде Кавун и заболталась. Ах ты, ненаглядная моя! Как ты тут без меня? А почему трусы мокрые?! Ты что, купаться ходила? Одна?

— Я не одна. К нам дядя приехал.

— Какой дядя?

— Старый знакомый. Когда меня еще не было.

— Где же он?

— Спит в моей комнате.

— Ах ты, господи! Да ведь это, знаешь ли, наверное, кто?! Давай мы с тобой скорее переоденемся, чтобы он поглядел, какая ты у нас красавица. А то что же ты перед ним такой замарашкой. И я ушла, как на грех. Пойдем, наденешь белое платьице, красные сандалики, подвяжем бант. Ах ты! Он ведь, можно сказать, крестный твой, второй отец. А ты перед ним такой замарашкой, нехорошо.

Возраст, что ли, такой. От простых слов, от песни, от кадра в документальном кино наворачивается слеза. А еще меня обожгло стыдом за то, что четверть часа назад я так дурно думал о Кате, а вместе с ней — и обо всех человеческих матерях.